

Фрагмент из романа

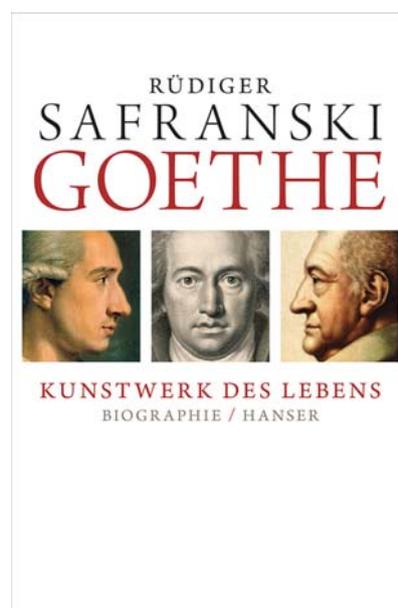
Rüdiger Safranski
Goethe. Kunstwerk des Lebens. Biographie

Carl Hanser Verlag, München 2013
ISBN 978-3-446-23581-6

C. 15-18 & 318-325

Рюдигер Сафрански
Жизнь как искусство

Перевод Бориса Скуратова



Предварительное замечание

Гёте – это событие в истории немецкого духа, как считал Ницше – не имевшее последствий. И все-таки Гёте не остался без последствий. Хотя немецкая история, в свою очередь, из-за него не приобрела особенно благоприятного оборота, но в другом отношении последствия Гёте можно назвать обильными, а именно – это пример состоявшейся жизни, сочетающей в себе царство духа, творческую силу и житейскую мудрость. Напряженная жизнь, где кое-что было вложено уже в колыбель, однако угрожали внутренние и внешние опасности и нападки. Что не перестает восхищать, так это индивидуальный облик этой жизни. И это не само собой разумеется.

Сегодня наступили времена, неблагоприятные для возникновения индивидуальности. Объединение всех и вся в сеть – звездный час конформизма. Гёте был до глубины души связан с общественной и культурной жизнью своего времени, но он знал искусство оставаться индивидом. Он возвел в принцип вбирать в себя лишь столько мира, сколько он мог «обработать». На что он не мог сколько-нибудь продуктивно ответить, то его не касалось: иными словами, он мог и чудесно игнорировать. Разумеется, Гёте приходилось участвовать во многом, от чего ему хотелось воздержаться. Но как бы далеко это от него ни располагалось, он хотел сам определять размеры своего жизненного круга.

В какой-то мере мы знаем толк в физиологическом обмене веществ, однако что касается успешного духовно-душевного обмена с миром, этому мы можем научиться на примере Гёте. А также тому, что, наряду с телесной иммунной системой, нам необходима и духовно-душевная. Мы должны знать, что в себя впускать, а что – нет. Гёте это знал, и это относилось к его житейской мудрости.

Поэтому Гёте возбуждающе воздействует не только своими произведениями, но и жизнью. Он был не только великий писатель, но и наставник жизни. Оба этих качества делают его неисчерпаемым для потомства. Он это предчувствовал, даже когда в своем последнем письме к Цельтеру писал, что отжил свое вместе с эпохой, которая

больше не вернется. Тем не менее, Гёте, может быть, живее многих живых, с которыми приходится иметь дело.

У каждого поколения есть шанс – в зеркале Гёте лучше понять также самих себя и собственное время. Эта книга представляет собой такую попытку, описывая жизнь и творчество гения столетия, и одновременно на его примере разведывая возможности и границы искусства жизни.

Молодой человек из хорошего дома во Франкфурте-на-Майне учится в Лейпциге и Страсбурге, так и не окончив университетов, а в конце концов все-таки становится юристом; продолжительно влюбляется, его окружает целый рой молодых девушек и более зрелых женщин. После выхода «Гёца фон Берлихингена» Гёте становится знаменитым в Германии; после издания «Страданий молодого Вертера» о нем начинает говорить литературная Европа: Наполеон утверждает, что прочел роман семь раз. Посетители рекой стекаются во Франкфурт, чтобы увидеть и услышать там красивого, красноречивого и гениального молодого человека. В поколении лорда Байрона Гёте ощущает себя любимцем богов, и в качестве такового поддерживает и поэтическое общение со своим дьяволом. Еще во Франкфурте он начинает продлившуюся всю жизнь работу над «Фаустом», этой канонической драмой Нового времени. После эпохи гения во Франкфурте Гёте тяготится литературной жизнью, идет на риск радикального разрыва и отправляется в 1775 году в небольшое герцогство Саксен-Веймарское, где он, будучи другом герцога, дослуживается до министра. Он пробует себя как дилетант-естествоиспытатель, устремляется в Италию, вступает в незаконную любовную связь – и при всем этом пишет незабвенные любовные стихотворения, вступает в благородное состязание с другом и коллегой по писательству Шиллером, пишет романы, занимается политикой, поддерживает общение с великими деятелями искусства и науки. Еще при жизни Гёте становится своего рода институтом. Он осмысляет себя исторически, пишет по примеру «Исповедей»

Августина и Жан-Жака Руссо, пожалуй, наиболее значительную для старой Европы автобиографию, «Поэзия и правда». Но сколь бы чопорным и исполненным достоинства он порою себя ни подавал, все-таки в произведениях, написанных в старости, он проявляется и как дерзкий и сардонический Мефистофель, взрывающий все условности.

При этом Гёте всегда осознавал, что литературные произведения – это одно, а сама жизнь – другое. Ей он тоже хотел придать характер произведения. Что это такое – произведение? Оно выхватывается из потока времени, имеет начало и конец, а между ними – твердо очерченную форму. Остров значительности в море случайного и аморфного, к которому Гёте испытывал ужас и наделял формой. Для него все должно было иметь форму. Он либо обнаруживал ее, либо же ее создавал – в повседневном человеческом общении, в дружбе, в письмах и разговорах. Это был человек ритуалов, символов и аллегорий, друг намеков и обыгрываний – и все-таки он всегда хотел прийти и к некоему результату, к форме, как раз к произведению. Особенно это проявлялось при служебных обязанностях. Улицы должны были стать лучше, крестьяне должны были освободиться от гнета, бедные и дельные люди должны были получать жалованье и хлеб, горное дело должно было приносить доходы, а на театре публика должна была каждый вечер по возможности смеяться или рыдать.

С одной стороны – произведения, в которых жизнь наделяется формой, с другой – внимание. Это – прекраснейший комплимент, который можно сделать жизни, как собственной, так и жизни других. Даже природа заслуживает того, чтобы с любовью воспринимать ее. Он был убежден, что стоит в нее лишь с достаточной точностью взглядеться, как важное и истинное все-таки проявятся. Ничего иного, никакого скрытничанья. Он занимался наукой, неиссякаемой для слуха и зрения. Большая часть того, что он открывал, ему нравилась. А если это не нравилось другим, то, в конечном итоге, ему было тоже безразлично. Время жизни было для него слишком дорого, чтобы

расточать его, сражаясь с критиками. «Отрицатели не принимаются во внимание», – как-то сказал он.

Гёте был коллекционер, но не предметов, а впечатлений. Так было в личных встречах. Он постоянно спрашивал себя, *поспособствуют* ли они ему и в чем – как гласило его излюбленное для этого выражение. Гёте любил живое и хотел по возможности больше из него сохранить и облечь в какую-либо форму. Миг, облеченный в форму, спасен. За полгода до смерти он еще раз карабкается на стремянку, чтобы прочесть каракули, некогда записанные на внутренней стене охотничьей хижины: *Горные вершины спят во тьме ночной*.

Не существует автора Нового времени, для которого были бы столь обильными биографические источники – но также и такого автора, которого касалось бы столько мнений, дерзких предположений и интерпретаций. Эта книга подходит к, вероятно, последнему универсальному гению исключительно из первоисточников – произведений, писем, дневников, очерков современников. Таким образом, Гёте становится живым, и он выступает, словно в первый раз.

Вместе с Гёте к нам приближается и его время. Существует несколько исторических цезур и разрывов, которые пережил этот человек, выросший еще при затейливом рококо и в чопорной и старомодной городской культуре; которого гнала и которому бросала вызов Французская революция; который пережил «новый порядок» Европы при Наполеоне, падение императора и Реставрацию, хотя последнюю все-таки не смогло остановить время; который отметил вторжение модерна столь чувствительно и вдумчиво, как едва ли кто-нибудь еще, и чей жизненный путь охватывает также и здравомыслие и ускорение эпохи железных дорог и ее ранних социалистических грез – человек, чьим именем впоследствии назвали целую эпоху этих грандиозных переломов: время Гёте.

Было рискованно уезжать, не испросив у герцога более продолжительного отпуска, так как Гёте рассчитывал отсутствовать несколько месяцев, не подозревая, что из всего этого получится даже почти два года. Он не хотел просить герцога об отпуске заранее, так как тогда его путешествие находилось бы в распоряжении герцога, а его решение зависело бы от воли герцога. Но этого-то Гёте и не хотел. Он хотел решать единолично и сам за себя. Следовало поставить герцога перед фактом. Гёте должен был учитывать тот риск, что герцог прореагирует с неудовольствием и, вероятно, даже сможет вызвать его назад. Если в путевых письмах Гёте не указывал места их написания, то тем самым он хотел избежать того, что его вообще сможет достичь такой вызов, прежде чем он окажется в Риме. Только там он ощутит себя в безопасности, потому что это достаточно далеко. Так он думал, так он планировал и такие выводы он делал.

Риск был, однако, связан не только с приказом вернуться назад. Герцог мог бы даже лишиться его доверия и прогнать его. Письма к друзьям и знакомым, даже более позднего времени, не дают повода для того, чтобы Гёте всерьез учитывал эту возможность с ее катастрофическими, прежде всего, финансовыми последствиями. Лишь в одном письме к герцогу такой намек сделан как возможная невозможность: *Не откажите мне в свидетельстве Вашей памяти и любви. Выброшенному в мир в одиночестве, мне было бы хуже, чем новичку,* – писал он спустя полгода после отъезда, встревоженный молчанием герцога. В остальном, однако, Гёте как будто бы достаточно уверен в том, что вызывает у герцога чувства доверия, высокой оценки и приверженности. И все-таки уверен не столь достаточно, чтобы суметь отказаться от почти подобострастного тона в первых письмах из Италии. В них ощущается желание внушить герцогу забвение собственной строптивости.

Итак, то, что Гёте держал в тайне планы своего путешествия, имело отчетливую функцию. Он хотел принять решение об Италии как раз независимо от герцога. И все-таки к рациональным мотивам

примешивался и иррациональный. Так было уже во время поездки в Гарц зимой 1777 года. И тогда он никому не выдал уже давно взлелеянный план. И тогда внешней таинственности соответствовала внутренняя мистификация, ибо восхождение на Броккен влекло за собой своего рода Божий приговор относительно решения перебраться в Веймар. Таинственность оберегает магический круг высокой значимости. То же произошло и с путешествием в Италию. От Рима Гёте рассчитывал выздороветь телом и душой. Поэтому он суеверно следил за тем, чтобы чудодейственная сила места не улетучилась для него из-за преж-девременных разговоров. Прибыв в Рим, он пишет герцогу: *Наконец, я могу открыть рот и с радостью поприветствовать Вас; простите таинственность и почти подпольную поездку сюда. Едва ли я мог сказать самому себе, куда я еду.*

До самого прибытия в Рим Гёте вел себя фактически независимо от герцога; после этого он вновь недвусмысленно влагает свою судьбу в его руки: *Продолжительность моего пребывания здесь, – пишет он в первом письме из Рима – будет зависеть от Вашего жеста.* Во все новых выражениях Гёте подчеркивает, что он вернется преобразившимся; пусть герцог *дарует ему свою любовь, дабы, вернувшись, я смог бы наслаждаться новой жизнью с Вами, которую научился ценить только на чужбине.*

Разумеется, герцог был раздражен скрытничаньем Гёте, однако долго он на него за это не злился. Фактически происходит так, будто Гёте пожелал себе поставить отношения между ними на новую основу. Шарлотта же не простит ему бегство в Италию и связанную с ним утрату доверия. В первой реакции она потребует от него свои письма назад.

К практическому смыслу скрытничанья принадлежало тщательно оберегаемое инкогнито. Когда Гёте путешествовал не под своим именем, он мог и не откликаться на свое. Но, как и при скрытничанье вообще, инкогнито для Гёте имело также гораздо более глубокое значение. Так, в Сезенгейме при первом посещении дома Фридерики Брион Гёте пришел переодетым и выступал под другим именем. Точно

так же и во время зимнего путешествия в Гарц. Тогда он писал Шарлотте: *У меня возникает странное ощущение, когда я влачусь по миру неизвестным; мне кажется, будто я гораздо правдивее чувствую свое отношение к людям и вещам.*

Гёте, как правило, избирал для своих игр переодевания и выходов инкогнито социально низкие роли. Он надеялся получить от этого выигрыш истины. Ему представлялось, что не только другие вели себя с ним при встрече более открыто, но и он сам раскрывался и обнаруживал у самого себя новые стороны, которые невозможно было пережить в других случаях. В самоумалении (согласно внешнему рангу) он находил поразительное самовозвеличение. Впоследствии, в одном из писем к Шиллеру, он назовет это окольное самопредставление своей *причудой, из-за которой я нахожу удобным скрывать свое существование, свои поступки, свои сочинения от взглядов людей. Поэтому я всегда охотно буду путешествовать инкогнито, предпочитать плохое платье лучшему и – в беседах с чужими и полужнакомыми – избирать незначительный предмет или малозначительные выражения, вести себя легкомысленнее, чем я есть, и тем самым – я хотел бы сказать – ставить себя посередине между мной самим и тем, за кого я себя выдаю.*

Итак, он поехал в Италию под именем художника Иоганна Филиппа Мёллера. Возведенный во дворянство действительный тайный советник выдавал себя за человека почти на десять лет моложе и очутился среди социально гораздо ниже стоящих художников в Риме, где, однако, впоследствии вел себя, словно в родной стихии.

Вернемся к отъезду. Все было хорошо подготовлено. Даже свои слу-жебные обязанности он тщательно перегруппировал между придворными. Он организовал это настолько влиятельно и незаметно, что смог написать герцогу: *В общем, в такие моменты без меня можно обойтись, и особенно, что касается порученных мне дел, то их я устроил так, что некоторое время они смогут спокойно идти своим чередом без меня; даже если я умру, не произойдет ничего страшного.*

В конце июля 1786 года Гёте, как и в предыдущем году, едет на воды в Карлсбад. Он знает, что оттуда вырвется в Италию, и поэтому уже в Веймаре ему пришлось готовиться к большому путешествию. В Карлсбаде лечатся Гердеры, и герцог и Шарлотта тоже оказываются там. Всем, кто тогда встречался с Гёте, кажется, будто в эти недели в Карлсбаде он был доволен и ничем не отягощен. По утрам – водные процедуры, днем – прогулки, по вечерам – общение в компаниях. Гёте устраивает чтения отрывков из «Фауста». Дело доходит до подробных бесед с герцогом, которому он излагает своего рода отчет о своей жизни, как будто собираясь оставить у него некое завещание. Однако о ближайшем намерении он молчит.

3 сентября 1786 года, в 3 часа утра Гёте отъезжает. Общество, где он вращался еще до вчерашнего дня, чувствует себя одураченным. Придворная дама Амелия фон Ассбург пишет герцогу: «Г-н тайный советник фон Гёте – дезертир, которого я охотно хотела бы судить по всей строгости военного права. Он воспользовался удобным случаем, не попрощавшись с нами, не оставив ни малейшего подозрения о своем решении. Это было действительно отвратительно! Скоро я захочу сказать по-французски. Нет! Мы, пруссаки, можем перехитрить своих врагов, но никогда не используем хитрость против друзей».

Глава восемнадцатая

Поездка в Италию. Инкогнито и без адреса. Знакомство с непринужденной жизнью. Палладио. «Я учусь больше, чем наслаждаюсь». Рим. «Ифигения» завершена. Среди художников. Мориц. Неаполь и Сицилия. Чудо феаков. Второе пребывание в Риме. Закончен «Эгмонт». Фаустина. Расставание с Римом.

На первом отрезке пути через Регенсбург, Мюнхен, Инсбрук, Больцано, до Тренто Гёте торопил кучера. Они делали меньше промежуточных остановок, чем обычно полагалось. В «Дневнике итальянского путешествия для госпожи фон Штейн 1786 года» он

отмечает: *Почему я не все запечатлел? Чтобы лелеять единственную мысль, которая слишком давно укрепилась в моей душе.*

Единственная мысль – окончательное прибытие в Рим! И все-таки, в соответствии со своим намерением, он находил время собирать окаменелости. Он также занимался ботаникой. Шарлотте, которая ожидает объяснения тайного отъезда, пришлось довольствоваться изрядно скучными описаниями климата, камней и растительности. Только потому, что *тяга и беспокойство* гонят его в Рим, он не слишком долго медлит с объяснениями.

Гёте движим не только стремлением наконец-то попасть в Рим, воплотив в жизнь там грезы своей юности. Движим он и другими намерениями. Во всем, что он предпримет во время этого путешествия, вообще очень много намерений. Путевые письма подтверждают это; так, матери он пишет: *Я вернусь новым человеком, а друзьям в Веймар: Ибо речь идет <...> о новой жизни, или же Гердеру: Необходимо, так сказать, родиться заново.*

И все-таки можно ли таким способом что-либо предпринять? Второе рождение как награда за труд? И каким бы хотел он быть? Разумеется, он точно не знает. Однако делает кое-какие намеки, например, в письме к Гердеру, спустя неделю после прибытия в Рим: *Что, однако, я могу сказать, и что глубже всего меня радует, так это впечатление, которое я чувствую в своей душе: это внутренняя солидность, на которой как бы запечатлен дух; серьезность без сухости и занятая сущность с радостью.*

Серьезная и занятая сущность – вот что действительно добавилось к тайному советнику в последние годы. В этом отношении ему не нужно изменяться, и все-таки должна быть *серьезность без сухости*; чопорность, на которую многие сетовали, должна растаять под южным солнцем, а *занятая сущность* должна сочетаться с радостью. Ему хотелось бы предаться всему, при этом ничего не упустив. Непринужденная сущность, которая, разумеется, есть сущность его средоточия... Это он называет чувством *внутренней солидности*. С ее помощью можно без робости войти в толпу народа и

в ее живописную жизнь. В своем облике – а я имею обыкновение носить еще и льняные чулки (благодаря чему сразу спускаюсь на несколько ступеней) – я вращаюсь среди них на рынке, веду речи по любому поводу, задаю им вопросы, вижу, как они между собой жестикулируют и не могу воздать достаточно хвалы их естественности, свободному нраву, благодущию.

После одного такого погружения в толпу он осознает, чего ему не хватает в Веймаре: Я не могу тебе описать, сколько человечности я уже приобрел за короткое время. Но какие же мы, должно быть, жалкие одинокие люди в маленьких суверенных государствах, и особенно в моем положении, когда я не смею говорить почти ни с кем, кто чего-либо не хотел или не желал бы.

Иногда Гёте спонтанно предается какой-нибудь ситуации, следуя соблазну окольными и отвлекающими путями. Ему приходится вновь привыкать к таким свободам, так как он, сильнее, чем прежде, настаивает на плановости. Он оснащен путеводителями и книгами по искусству, которые будут основательно проработаны. Прежде всего, для образованной публики здесь следует назвать неизбежного тогда Иоганна Якоба Фолькмана. Впоследствии Гёте будет тоном классного наставника поучать Шарлотту, чтобы маршрут путешествия она соблаговолила прочесть по Фолькману, а сам он устраивает себе дотошно разработанную программу осмотра достопримечательностей. И все-таки он не хотел бы, чтобы его приняли за одного из повсюду рыскающих англичан. В Вероне он покупает себе одежду вроде той, которую носят здесь, и радуется, что может применить свои знания итальянского, которым он тайно занимался перед этим в Веймаре. Он погружается в народ, с людьми, встречающимися мне, я разговариваю так, словно мы давно знакомы. Это доставляет мне истинное удовольствие. Ему нравится пестрая жизнь на площадях и улицах. Все, что бродит туда-сюда, напоминает о любимейших картинах. Туго заплетенные косы женщин, голая грудь и легкие куртки мужчин, великолепные волы, которых они гонят с рынка домой, ослики,

груженные поклажей <...> А теперь, когда наступает вечер, воздух мягок, а на горах покоятся редкие облака.

По контрасту к этому предстает перед ним местность, откуда он происходит – холодная и мрачная – а сам он, словно *северный медведь*. По другому поводу он пишет: *и все-таки мы, киммерийцы, едва ли знаем, что такое день. В вечном тумане и мраке нам все равно – день или ночь, ибо сколько времени мы можем действительно гулять и веселиться под открытым небом?* Представление о скверной погоде, ожидающей его дома у северных германцев, будет сопровождать его во время всего итальянского путешествия.